

Александр Михайлович Скабичевский

Старая правда



Александр Михайлович Скабичевский

Старая правда

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136320

Аннотация

«...Подражая герою романа Гончарова, Райскому, которому ежеминутно мерещились женские статуи, мы можем сравнить роман Гончарова с Венерою весьма оригинального свойства. Представьте себе статую, в которой художник обратил все свое внимание на тщательное выполнение отдельных частей. Посмотрите, как нежно отделаны пальчики, обратите внимание на этот мизинчик: художник не забыл в нем каждой тончайшей жилочки, каждая такая жилочка дышит, трепещет, и вы как будто видите кровь, переливающуюся под тонкой кожицею; а этот артистический носик, а смелый взмах высокого лба, — одним словом, на что ни взглянете, так и остаетесь прикованные к месту, словно каким-то волшебством. Но ведь искусство ваяния заключается не в одном художественном исполнении частей; а потому отойдем от статуи подальше и посмотрим, как соединяются части в одно целое. Отошли, посмотрели, и нам остается только вскрикнуть, — но не от эстетического восторга, а от ужаса: вместо легкой, грациозной Венеры перед нами безобразное чудовище, в котором мы не можем разобрать, где руки, где ноги, где волосы; перед нами что-то несоразмерное, тяжелое, как кошмар, и ежеминутно готовое повалиться всею

своею массою. А между тем сквозь это безобразие не перестает мерещиться нечто совершенно иное...»

Александр Михайлович Скабичевский Старая правда

I

Подражая герою романа Гончарова, Райскому, которому ежеминутно мерещились женские статуи, мы можем сравнить роман Гончарова с Венерою весьма оригинального свойства. Представьте себе статую, в которой художник обратил все свое внимание на тщательное выполнение отдельных частей. Посмотрите, как нежно отделаны пальчики, обратите внимание на этот мизинчик: художник не забыл в нем каждой тончайшей жилочки, каждая такая жилочка дышит, трепещет, и вы как будто видите кровь, переливающуюся под тонкой кожей; а этот артистический носик, а смелый взмах высокого лба, – одним словом, на что ни взглянете, так и остаетесь прикованные к месту, словно каким-то волшебством. Но ведь искусство ваяния заключается не в одном художественном исполнении частей; а потому отойдем от статуи подальше и посмотрим, как соединяются части в одно целое. Отошли, посмотрели, и нам остается только вскрикнуть, – но не от эстетического восторга, а от ужаса: вместо

легкой, грациозной Венеры перед нами безобразное чудовище, в котором мы не можем разобрать, где руки, где ноги, где волосы; перед нами что-то несоразмерное, тяжелое, как кошмар, и ежеминутно готовое повалиться всею своею массою. А между тем сквозь это безобразие не перестает мерещиться нечто совершенно иное. Вам постоянно чудится, что задумана была художником прелестная Венера, но впоследствии она была умышленно обезображена и обращена в чучело для того, чтобы охранять от хищных воробьев огороды, на которых произрастают невинные российские девы. Говорю я это не из злобы, не из предубеждения и не с целью умышленно унижить произведение Гончарова; напротив того, согласен, что на многих страницах своего романа Гончаров является тем же, каким он был и в «Обыкновенной истории» и в «Обломове». Обратите внимание на Райского, Беловодову, Татьяну Марковну, Марфеньку, Викентьева, наконец на бездну других побочных личностей, мелькающих в романе, все они, мало сказать – живые личности, исполненные плоти и крови, но по своей широте могут служить представителями одного из сословий нашего общества. Возьмите вы в то же время ряд мелких сцен, в которых действующие лица романа мелькают перед вами то за обедом, то за чаем и ужином; то откроются перед вами закулисные шашни дворовых; то представит перед вами бабушка, звенящая ключами и распудривающая какую-нибудь Аксиныю; то вы увидите сцену кормления кур уездной барышнею; то эта барышня бежит перед вами

с женихом в горелки; – одним словом, вся немногосложная, бедная содержанием захолустная, помещичья жизнь доброго старого времени воспроизводится перед вами во всей своей обыденности, как тянулась она когда-то день за днем, и автор не жалеет красок: каждую сценку он отделяет со всеми мельчайшими подробностями, не забывши даже галки, которая подкрадывается, подскакивая боком, к пшенице, когда Марфенька кормит кур. И в этом отношении Гончаров нисколько не уступает своим прежним романам: они точно так же изобиловали мелкими сценами во фламандском вкусе, и сцены эти были отделаны не с большею художественной тщательностью, чем и в «Обрыве». Но если мы от этих мелочей перейдем к целому роману, начнем рассматривать, как совокупил автор свои типы в одну стройную драму, – то лучше уже закрыть глаза и совсем не смотреть.

В этом отношении над Гончаровым до сих пор тяготеет приговор, сделанный Белинским двадцать лет тому назад по поводу появления первого произведения тогда еще молодого писателя – «Обыкновенной истории».

«Придуманная автором развязка романа, – сказал Белинский (см. 413 стр., т. XI), – портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Иванович и Лизавета Александровна до самого конца; в отношении же к герою романа эпилог хоть не читать... Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или он не совладал с сво-

им предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве – на почве сознательной мысли – и перестать быть поэтом. – Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера (Белинский сравнивает здесь «Обыкновенную историю» Гончарова с романом Искандера «Кто виноват?», которые он разбирает вместе, сопоставляя один роман с другим); тот и в сфере, чуждой для его таланта – действительности, – умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор «Обыкновенной истории» впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительной верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям».

К этому надо прибавить еще, что почва сознательной мысли не потому чужда Гончарову, что он непосредственный поэт. Было бы совершенною нелепостью судить, что человек, обладающий даром непосредственной поэзии, непременно должен быть лишен сознательной мысли. Если бы это было так, в таком случае не могло бы явиться таких поэтов, как Шекспир, Гете, Байрон, Гейне и многих других, кото-

рые рядом с даром непосредственной поэзии владели не менее сильным мышлением. Наши же писатели стоят на ступени одной непосредственной поэзии просто потому, что дар мышления находится у них в состоянии наивного младенчества. В их фантазиях носятся художественные представления, они могут воспроизводить их иногда с гениальной художественностью, но освещать их философскою мыслью – об этом вы их лучше уж и не спрашивайте. Как только российский беллетрист пустится судить, умозаключать и делать разные мировые приговоры – сейчас и обнаружится перед вами вся жалкая бедность его мысли, все его пошлое невежество. – Белинский совершенно верно определил талант Гончарова, сказавши, что он больше ничего как талантливый рисовальщик и рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы насладиться способностью рисовать. Но Гончарову мало одного этого наслаждения; ему постоянно хочется быть судьей своих типов и своего времени, и это поползновение составляет ахиллесову пятку всех его произведений. Ведь и в «Обломове», как ни хороши типы Обломова и Ольги, как ни хороши отдельные мелкие сцены, но драма в целом не выдерживает критики, потому что, сопоставивши такие типы, как Ольги и Обломова, автор должен был употребить большую натяжку, чтоб заставить Ольгу хотя бы и временно влюбиться в Обломова; а с другой стороны – вам представляется Штольц, этот ходульный, неестественный герой, олицетворенная нравственная сентенция, сочиненная

нарочно в противовес Обломову, – о нем и говорить нечего!..

Но если в «Обыкновенной истории» неестествен и ложен только исход, который придумал Гончаров для своего героя, если в «Обломове» неестествен целый тип и натянут весь ход драмы, – что же вы скажете об «Обрыве», который создан следующим образом: Гончаров задумал этот роман, по собственным его словам ранее 1856 года. Слава автора была в то время в своем апогее: «Обломовым», вышедшим в конце пятидесятых годов в свет, зачитывались, считали его чуть что не эпопеею русской жизни; критика отнеслась к роману так, как он того заслуживал, если не более, и самое гордое самолюбие не могло не быть удовлетворено этой критикой. На молодое поколение глядели в то время еще с надеждою и упованием, видели в нем залог нового времени, расцветающую зарю и все такое подобное, и никому не приходило тогда в голову, что это более ничего, как сонмище недоученных мальчишек и стриженных девок, совращенных с истинного пути в бездну отрицания и разврата. Понятно, что Гончарову в то время не могло прийти в голову выставлять несостоятельность новых учений и спасительность старых. Останься роман при своем первоначальном замысле, он, конечно, носил бы такой же характер, какой имеют все предыдущие романы Гончарова: точно так же он отличался бы богатством характеров, сцен и всевозможных красок, обрисовывающих перед нами старую жизнь нашего общества. Весьма вероятно, что была бы проведена в романе и тенденция, и,

конечно, крайне узенькая: тип Тушина, разумеется, нарочно для того и сочинен, чтобы, подобно типу Штольца, служить для вящего нравоучения, олицетворенною нравственною сентенциею. Узенькая тенденция вела бы за собой немало фальши; но объективная сторона романа настолько перевешивала бы, что сама собою выливалась бы через край узенькой сентенции и представляла бы критике такой же богатый материал для анализа жизни нашего общества, как и прежние романы Гончарова.

Но роману, увы, не суждено было остаться в своем первоначальном виде. С течением времени, когда Гончарова, подобно большинству его современников, начали смущать различные призраки, он вознамерился выразить ужас свой по поводу этих миражей. Но он не вполне последовал примеру своих сотоварищей. Те под впечатлением такого же ужаса задумали новые произведения, нарочно для того и предназначенные, чтобы выразить то, что навеяло на писателей новое время. Гончаров вздумал употребить в дело старый материал, неоконченное произведение, задуманное совершенно под иными настроениями. Ему показалось, что ничего не стоит сделать такое превращение: стоит только переделать один тип да от себя прибавить несколько рассуждений по поводу новых учений – и дело в шляпе. Гончаров сам говорит в предисловии, что он своим друзьям еще в 1856 и 57 годах «сообщал подробно, как сам видел в перспективе весь роман с толпою действующих лиц, с описанием местно-

стей, сцен, с характерами, выключая один (Марк Волохов), принявший под конец романа, начатого давно и конченно-го недавно, более современный оттенок». В этих словах вы видите удивительную наивность автора и полное непонимание им самых элементарных законов творчества. Задумать роман пятнадцать лет тому назад, а потом взять один из типов этого романа, да и переделать его в духе современных нравов, — да ведь это все равно, что взять какую-либо античную статую Аполлона и пытаться преобразить ее в Суворова, чтобы поставить на монумент.

Что за сумбур вышел от такой переделки, уму непостижимо: от старого сюжета роман уклонился, к новому не пристал. Самая иллюзия романа совершенно нарушилась, и автор вывел такие психические положения, которые, будучи совершенно естественны и понятны при старом замысле, сделались крайне натянутыми и совершенно невыносимыми при новом. Чтобы распутать всю эту путаницу, нам остается держаться следующего плана: первоначально мы откинем все рассуждения автора и попытки его подвергнуть изображаемое анализу, откинем и тип Марка Волохова, как будто его вовсе не было в романе. Тогда перед нами сам собою всплывет роман в основном своем сюжете, вполне соответствующем старой жизни нашего общества: рядом с этим вместо Марка Волохова предстанет пред нами иной тип, совершенно в духе этой старой жизни.

Сделавши такой анализ, мы приступим к субъективной

стороне романа и постараемся раскрыть все, и художественное, и умственное, и нравственное безобразие романа.

II

Когда мы называем жизнь, изображенную Гончаровым, старую, мы употребляем это слово не по отношению только к каким-нибудь десятилетиям; многие явления, которые мы находим в романе, встречаются и в наше время, и мы не знаем, сколько пройдет еще до тех пор, когда их совсем уже не будет встречаться. Мы намерены поставить изображенную Гончаровым жизнь на общую историческую почву и посмотреть, к какому периоду цивилизации относится она с теми принципами, которые лежат в ее основании. И если мы это сделаем, мы увидим, что в основах своих она совершенно аналогична с жизнью не только средних веков, но и тех древних обществ, быт которых мы привыкли считать ветхим.

В древних обществах господствовал быт чисто родовой с теми принципами, которые прямо из него выходят. Принципы эти следующие: 1) полное, безусловное подчинение отдельной личности интересам общего целого, составляющего отдельный род, в каком бы виде он ни представлялся, в виде ли патриархальной семьи кочующего племени, или в виде демократической республики наподобие Афин, еврейской теократии или римского патрициата; 2) охранение рода и стремление возвеличить его по возможности над всеми родами и

все подчинить его власти.

Из первого принципа вытекала вечная борьба личности с обществом и стремление личности освободиться. Второй принцип имел своим результатом постоянное соперничество между родами и стремление родов возвыситься один над другим и, если возможно, подчинить соперников своей власти. Этим исчерпывается вся история древнего мира: он весь состоял из отдельных племенных общин, в основании которых лежали семейные роды, и каждая община, каждое племя составляли в целом свой особенный род, живущий для себя, соблюдающий только свои интересы, огражденный непроходимой стеною от всего человечества. Соблюдая свои родовые интересы, древние общины постоянно воевали между собою, стараясь нажитья одна на счет другой, поработить одна другую, пока римский род не поглотил весь древний мир. И семейные роды внутри каждой древней общины находились в постоянном антагонизме: равенство сохранялось обыкновенно только между несколькими равномогучими родами, которые не имели возможности возвыситься один над другим; менее же могучие роды подчинялись более могучим, а в самом низу представлялась толпа рабов, трудами которых существовал весь древний мир.

Христианские идеи, возникшие на почве древнего мира, представляют полное отрицание всех принципов родового быта. Частные, родовые культы христианство заменило равно обязательным для всех народов поклонением единому бо-

гу; на место охранения родовых интересов поставило служение общечеловеческому благу, на место соперничества и порабощения – братство и любовь; наконец, оно освободило личность из-под власти рода и даровало ей нравственную свободу.

Древний мир не пережил кризиса, после которого он должен был вступить в новый возраст своего существования. Германские же и славянские народы, выступившие на историческое поприще, хотя и приняли христианство, но были очень юны, чтобы усвоить и провести сейчас же в жизнь все его идеи. Они должны были пережить тот же возраст родового быта, на котором почил древний мир. Средние века, как на западе; так и у нас, – представляют именно этот возраст. Вся Европа разделилась в средние века на отдельные роды феодалов, и все средние века представляют борьбу между этими родами из-за права первенства и господства, пока более могучие роды королей не подчиняют своей власти менее могучие роды феодалов, а затем к концу средних веков более могучие из королей начинают мечтать о всемирном господстве в духе римской империи. У нас мы видим то же самое: наша история с того и начинается, что род восставал на род, а управы не было; призванные варяги разделяются на те же роды и начинаются удельные междоусобия, в которых род воюет с родом, племя с племенем из-за того же, из-за чего воевали древние республики между собой. И кончается тем же поглощением родом московских князей всех отдельных

родов и племен России.

С XV века Европа начала переживать кризис, подобный кризису, которого не мог пережить древний мир. Подобно тому, как и там, в воздухе начали носиться идеи общечеловеческих интересов, братства, любви и свободы – вместо узких принципов родового эгоизма, завоевания и порабощения.

Но родовой быт вовсе не такой хрупкий, чтобы сломить его можно было одним ударом, одним почерком пера, как изменить какую-нибудь французскую конституцию. В продолжение целых тысячелетий он успел глубоко вкорениться во все, так сказать, поры жизни европейских обществ. Для того чтобы окончательно пережить его, необходимы дружные усилия и неустанная борьба целых сотен поколений. Если современное нам человечество успело уже во многих отношениях пошатнуть принципы родового быта, если завоевательная политика все более и более уходит на задний план, если рабство уничтожено в Европе и Америке, если рушатся ежедневно различные феодальные привилегии, – то во всяком случае родовой быт все еще остается господствующим во многих отношениях людей между собою. Семейство в большинстве европейских обществ до сих пор еще основывается на родовых началах рабства женщин и детей и деспотизма старших; соперничество родов перешло с почвы владычества меча на почву владычества капитала, и рабы заменились наемниками.

Жизнь, изображенная в романе Гончарова, является пе-

ред нами старою именно потому, что в ней мы видим все принципы быта и многие черты нравов, совершенно аналогичные с чертами нравов семьи какого-нибудь средневекового феодального мира или древнего, классического.

Как известно, в родовой семье существуют два необходимые элемента: с одной стороны, старшие члены, пастыри, патриархи, устроители и охранители рода – элемент господствующий; с другой стороны – низшие члены рода, паства, охраняемая пастырями, – элемент подчиненный.

Пастырями и охранителями являются в романе тетушки Беловодовой и бабушка Райского. Несмотря на различие характеров и вытекающего из этого различия в способе управления, мы увидим, что как первые, так и последняя преследуют одни и те же цели и приходят к одним и тем же результатам.

III

Тетушки Беловодовы принадлежат к тем сферам нашей жизни, где охранение родовых начал возведено в сознательную стройную систему, доведено, с одной стороны, до самого узкого педантизма, а с другой – до крайнего фанатизма, напоминающего фанатизм испанского католичества. Не ждите здесь и тени самостоятельного, свободного движения мысли, чувств, и что тут говорить о каких-либо высших принципах и проявления хотя бы чего-нибудь похожего на чув-

ство сострадания, участия к ближнему: все здесь подчинено узким интересам родового эгоизма, и малейшее отклонение от раз определенных законов компрометирует уже род то со стороны его значения, то со стороны его чести. В этой сфере жизни даже присутствие бедного учителя на обеде или *soirée musicale* [*музыкальный вечер – фр.*] наносит уже оскорбление роду и коробит пастырей.

«Когда папá привез его (учителя) в первый раз после болезни, – рассказывает Беловодова, – он был бледен, молчалив... глаза такие томные... Мне стало очень жаль его, и я спросила его, чем он был болен... Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно... Но мамап после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже девице спрашивать о здоровье молодого человека, еще учителя, «и бог знает, кто он такой!» – прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате, потом уж никогда ни о чем не расспрашивала».

А затем стоило несчастной барышне, вследствие естественной, почти детской влюбчивости, покраснеть при входе учителя на *soirée musicale* и сыграть не совсем равнодушно музыкальную пьесу, для того чтобы в доме поднялась страшная буря.

«Мамап, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны: Васильевны на глазах были слезы... Наутро я ждала, пока позовут меня к мамап, но меня долго не звали. Наконец за мной при-

шла ma tante Надежда Васильевна и сухо сказала, чтоб я шла к маман. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у маман в комнате. Там было темно, портьеры и шторы были спущены, маман казалась утомлена; подле нее сидела тетушка, mon oncle prince Serge и папá... Папá стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково; мне было бы легче. Но он старался не глядеть на меня; бедняжка папá боялся маман; а я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами, он это всегда делает в ажитации, вы знаете... «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» – тихо спросила маман. «Ваша дочь», – чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя!» Я молчала, отвечать было нечего... «Что за сцену разыграли вы вчера, комедию, драму? Чье это сочинение, ваше или учителя этого... Ельнина?» – «Маман, я не играла сцены, я нечаянно...» – едва проговорила я; так мне было тяжело. «Тем хуже, – сказала она, – Il y a donc du sentiment lá dedans? Вот послушайте, – обратилась она к папá, – что говорит ваша дочь. Как вам нравится это признание?» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня, и смотрел вниз; я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда... «Знаете ли, кто он такой, – сказала маман, – ваш учитель? Вот князь Serge все узнал: он сын какого-то лекаря, бегают по урокам, сочиняет, пишет русским купцам французские письма за границу за деньги и этим живет...» – «Какой срам!» – сказала ma tante. Я не дослушала

дальше; мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, и папá стоял со спиртом. Матап не было. Я не видела ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Матап говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не заплакала, как это все заметила кузина Любимова и пересказала Михайловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бранили, зачем принимала бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня!» – заключила матап. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово вперед держать себя прилично».

Так с детства уже забивали в девочке всякие человеческие побуждения. Все воспитание Беловодовой было направлено к тому, чтобы сделать из нее не живого, свободного человека, любящего, сочувствовавшего радостям и горю ближних, а какую-то куклу на пружинах, бальзамированную мумию, которая ни одним шагом, ни одним движением не могла бы нарушить достоинства и чести своего рода...

«Я не шалила; мисс Дредсон шла рядом, и дальше трех шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, и он покатился мне в ноги, я поймала его и побежала отдать ему, мисс сказала матап, и меня три дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было, помню только, что ездил танцмейстер и учил: *chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces* [*шаг вперед, шаг налево, держитесь прямо, не гримасничайте – фр.*]. После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик, прыгать через

веревочку, но тихонько, чтобы не разбить зеркал и не топтать ногами. Матан не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, а потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я (она засмеялась) язык показывала, когда рисую и пишу и даже танцую – и оттого *pas de grimaces* раздавалось довольно часто».

После замужества, конечно, по указанию старших, в духе родовых интересов, в котором и тени не было хоть чего-нибудь похожего на чувство, Беловодова овдовела и должна была сделаться, по-видимому, женщиной совершенно самостоятельной; даже и в древней, допетровской Руси вдовы пользовались некоторою самостоятельностью, о которой не смели и помышлять девушки и жены. Ничуть не бывало: мы видим, что Беловодова окружена столь же бдительным надзором со всех сторон, как и пятнадцатилетняя девочка. Когда она беседует с мужчиной, тут же непременно присутствует аргус в виде одной из тетушек, и если затрагиваются вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас кладут на всякий разговор патентованную печать. Беловодова понятия не имеет о том, что такое значит располагать своими собственными деньгами. «Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе, – говорит Беловодова, – а я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями». Даже самый порядок в комнате Беловодовой подвергается неусыпному надзору со стороны тетушек: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, сейчас

они приводятся в симметрию; чуть книга в богатом переплете окажется лежащею на диване, на стуле – книга ставится на полку; чуть западает слишком вольный луч солнца и играет на хрустале, на зеркале, на серебре, – тетушка находит, что глазам больно, молча указывает человеку пальцем на портьеру, и тяжелая негнущаяся шелковая занавеска мерно падает с петли и закрывает свет.

Наконец в жизни Беловодовой-вдовы возможен эпизод, совершенно подобный истории Беловодовой-девочки с учителем Ельниным. В дом ее начал входить итальянский граф Малари; Беловодова разыгрывала с ним музыкальные дуэты, а он, подобно Райскому, толковал с ней тишком о свободе чувств и жизни. Беловодова почувствовала к нему нечто вроде расположения, которое далеко еще было от страсти. Стоило графу несколько раз проехаться верхом возле экипажа Беловодовой, чтобы в свете заговорили все, что Беловодова а roussu la chose trop loin, и стоило Беловодовой написать графу Малари записочку самого невинного содержания, вроде следующего: «Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera, et surtout n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.», чтобы в доме поднялась буря, совершенно подобная вышеописанной истории с Ельниным: портьеры задвинулись, сторы спустились, дом заперся для всех входящих и выходящих, начались охи, ахи, флаконы со спиртом и пр. Сама Софья Беловодова, как кающаяся институтка, начала твердить: *Oui, la faute est à moi,*

je me suis compromise: une femme, qui se respecte ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre...» В довершение ужаса узнали, что граф из «новых», и своим прежним правительством был «malvu» и «эмигрировал» из отечества в Париж, где и проживал, а главное, что у него там, под голубыми небесами, во Флоренции или в Милане, есть какая-то нареченная невеста, тоже кузина, что вся его фортуна перейдет в его род из того рода, так же как и виды на карьеру... Какой ужасный удар гордости рода Ельневых и безукоризненной чистоте Софии Беловодовой! Такая строгая система воспитания, приведенная педантически до последних мелочей, не замедлила оказать свое действие. В лице Беловодовой перед нами нечто чудовищное, доведенное до невероятного, а между тем это невероятное до такой степени пригляделось нам на каждом шагу, что мы привыкли смотреть на него, как на явление обыденное. Такие женщины, как Беловодова, создаются без всякого труда в восточных гаремах, под надзором строгих евнухов, но надо удивляться искусству воспитания, которое сумело женщину, живущую в шуме света столицы, считающейся европейской, сохранить в том виде, в каком могут быть только невольницы, в продолжение целой жизни ничего не выдавшие дальше стен своего гарема или терема. И если только вы хоть сколько-нибудь знакомы с положением женщины в древнем мире, вас должна поразить аналогия между Беловодовой и какою-нибудь афинской γυνή и римской матроной. Из Беловодовой сделали действительно ка-

кую-то мраморную статую, в которой не шевелилось никакой мысли, никакого чувства, никакой жизни – все это было убито и заморожено до крайнего оцепенения.

«Когда в семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей в том или другом искателе мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского угасшего рода – она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело шло не о ней... Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва. Напрасно Райский, слыша раздражающий вопль на сцене, быстро глядел на нее, что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного страдания. И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызывавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у нее только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с нею в ложе женщиной взгляд».

Рядом с этой деревянностью вы видите разум младенца, не имеющего ни малейшего понятия о том, какие отношения между людьми, какие бывают у людей заботы, как люди живут вне собственного дома, откуда папенька с маменькой или тетеньки берут деньги для существования...

О каких-либо правах, обязанностях человеческих тут уж и говорить нечего. Однажды Райский вздумал развить перед Беловодовой картину быта ее крестьян и рассказал, как «в тамбовских или орловских ее полях в зной жнет беременная

баба, бросивши дома ребятишек, они ползают с курами, поросятами, а если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи... А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтобы добыть хлеба, буквально хлеба, утолить голод с семьей и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят ей, Беловодовой, на подносе». Беловодова, услышавши такие слова Райского, пришла в такое удивление и смущение, как будто ей в первый раз сообщили, что все люди смертны и что она тоже когда-нибудь умрет.

«Это очень серьезно, что вы мне сказали, – произнесла она задумчиво. – Если вы меня не разбудили, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушка, ни Paul, муж мой, никогда не говорили этого – и никто. Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счета, я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае. А... о бабах этих... и о ребятишках... никогда...»

И чтобы успокоить внезапно проснувшуюся совесть, Беловодова тотчас же придумала средство в таком роде:

«Когда-нибудь... мы проведем лето в деревне, cousin, – сказала она живее обыкновенного, – приезжайте туда и... мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками – это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать... этих баб работать... Наконец я не буду брать своих

карманных денег».

IV

Бабушка Райского принадлежит к охранителям другого рода. Правда, мирозозерцание ее было чисто родовое, патриархальное в самом узком смысле этого слова. В своем захолустном уголке она была живым олицетворенным преданием старины: вся ее незатейливая жизнь слагалась по этим преданиям.

«Рассуждает она о людях ей знакомых очень метко, рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается; горизонт ее кончается с одной стороны полями; с другой – Волгой и ее горами; с третьей – городом, а с четвертой – дорогой в мир, до которого ей дела нет.

Желает она в конце зимы, чтобы весна скорее наступила, чтоб река прошла к такому-то дню, чтоб лето было теплое и урожайное, чтоб хлеб был в цене, а сахар подешевле, чтоб, если можно, купцы давали его даром, так же как вино, кофе и пр. Любила, чтоб к ней губернатор изредка заезжал с визитом, чтоб приезжее из Петербурга важное или замечательное лицо непременно побывало у нее, и вице-губернаторша подошла, а не она к ней, после обедни в церкви, чтоб, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили своих

покупателей, когда она явится в лавку, чтобы никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались до того, что кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сеновале, и чтоб Тараска не напивался пьян, даже когда они могли б это сделать так, чтоб она не узнала. Любила она, чтобы всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в именины ее все, начиная с архиерея, губернатора и до последнего по-вытчика в палате, чтобы три дня город поминал ее роскошный завтрак, нужды нет, что ни губернатор, ни по-вытчики не пользовались ее искренним расположением. Но если бы не пришел в этот день m-г Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно разобиделась...»

Весь мир у нее разделялся на благородных и неблагородных; самые людские дела и занятия она подвергала тому же делению и сокрушалась, когда внук ее собирался унижить род свой, сделавшись артистом или приказным; по ее мнению, только военная служба была достойна дворянина.

На женитьбу своего внука она постоянно смотрела с точки зрения родовых интересов.

«— Почему вы знаете, что для меня счастье — жениться на дочери какого-то Мамыкина?» — сказал ей однажды Райский.

«— Она красавица, воспитана в самом дорогом пансионе в Москве. Одних брильянтов тысяч на восемьдесят...

Тебе полезно жениться... Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, у тебя бы весь город бывал, все бы

раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи... И в Петербурге не ударил бы себя в грязь...» – мечтала почти про себя бабушка.

Наконец по отношению к внукам она держалась вот каких правил:

«– А есть у тебя кто-нибудь на примете, – сказал Райский Марфеньке, – жених какой-нибудь?»

– Что это ты, мой батюшка, опомнись! Как она без бабушкина вопроса будет о замужестве мечтать?

– Как, и мечтать не может без вопроса?

– Конечно, не может.

– Ведь это ее дело.

– Нет, не ее, а пока бабушкино, – заметила Татьяна Марковна. – Пока я жива, она из повиновения не выйдет.

– Зачем это вам, бабушка?

– Что зачем?

– Такое повиновение: чтоб Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела?

– Выйдет замуж, тогда и полюбит.

– Как «выйдет замуж и полюбит»: полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать!

– Хорошо, хорошо, это у вас там так, – говорила бабушка, замахав рукой, – а мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него.

– Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их, бабушка! Есть ли смысл в этом...

– Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям!.. Вон покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени в могилу...»

Но бабушка была наделена слишком живою, глубокою, страстною натурой, чтобы из всех этих правил, которые она исповедовала, составить сухую, мертвую систему и подчинить ей каждый шаг и движение окружающих ее людей. К тому же в молодости своей она, как мы увидим ниже, на своей собственной шее испытала, что такое значит родовой гнет; все ее личное счастье было принесено в жертву родовым интересам самым беспощадным образом. Вот почему в отношении к домочадцам бабушка старалась держаться начал более широких и светлых: к внукам своим, помимо всякой патриархальной власти, она питала самую нежную материнскую любовь и на ней старалась основать нравственное влияние на них. Молодые девушки не испытывали и тени того подавляющего гнета обычаев и приличий, которому была подчинена Беловодова; напротив того, они пользовались такою свободою, которой можно было позавидовать, могли даже во всякое время отлучаться из дома куда угодно, и никто не требовал от них в этом отчета. Даже относительно свободы чувства у бабушки, рядом с вышеозначенными патриархальными правилами, было спрятано про запас правило совсем иного рода:

«– Ты как понимаешь бабушку, – сказала она однажды Райскому, – если богач посватался за Марфеньку, с породой,

с именем, с заслугами, да не понравился ей, – я бы стала уговаривать ее?»

Но все эти качества бабушки, поистине симпатичные и достойные полного уважения, выставляются перед вами как будто нарочно для того, чтобы показать, что даже самые светлые стороны человеческой природы до такой степени парализуются условиями родового быта, что делаются неспособны производить ничего, кроме мрака и растреления.

Мы уж не будем много распространяться о том, что вся нежная любовь и гуманность, которую бабушка расточала, были направлены к тому, чтобы воспитать внушек в духе все тех же родовых начал, привести их путем свободного воспитания к тому же в сущности знаменателю, к которому Беловодова была приведена путем сурового деспотизма. Поэтому свобода, которою пользовались девушки, была крайне условна, ограничиваясь тесным кругом родовых интересов и правил укоренившегося быта. Это была чисто отрицательная свобода, заключающаяся в праве veto: девушка могла отказать от десятка родовитых женихов, но предполагалось, что одиннадцатый, которому она, наконец, не откажет, будет все-таки родовитый или по крайней мере с стремлением сделаться таким. Таким образом, готовая пожертвовать для блага внушек родовыми интересами, бабушка ждала от них, в свою очередь, жертвы: пользуясь своею свободою, они должны были вести себя и поступать по свободному желанию так, чтобы родовые интересы от этого не страдали. Ма-

лейшее отклонение от такой системы поведения считалось уже преступлением, хотя бы в нем не было ничего безнравственного. По своей гуманной натуре, бабушка не могла силою деспотизма помешать, но во всяком случае выражала свое неудовольствие скорбью и укорами (как, например, при выборе службы Райским), и там, где она имела нравственное влияние, ее расположение духа приводило к тому же, к чему приводил и деспотизм тетушек Беловодовой.

Но губительнее всего на близких людей действовали такие качества бабушки, которые составляли лучшее ее достоинство: это именно ее сметливость, энергия, жажда деятельности и неусыпное трудолюбие; они-то и были главной причиной растряпанности всех окружающих бабушку людей. Так как бабушка заведовала сама не только имуществом своего рода, но старалась, по возможности, заведовать и судьбою своих родных и так как ее качества, покоряя власти ее окружающих людей, в то же время совершенно обеспечивали их от всякой необходимости заботиться самим о себе, то близким бабушки и только и оставалось, что, вложивши свою судьбу в ее руки, предаться беспечной, праздной жизни чисто растительного свойства. Так мы и видим: разворачиваем одну страницу романа, другую, третью, пятую, десятую – и везде видим одно: герои едят, едят – чего только не едят они в пяти частях романа, но бабушка все недовольна их аппетитом, находя, что они едят очень мало, а в промежутки между едою и едою они гуляют по полям, рассуждают о бурях страстей

и жаждут вождедений.

Рядом с этой жизнью, совершенно подобною жизни пасущихся стад, вы видите и все другие свойства, которые можете найти в любом стаде: то же отсутствие всякой инициативы, всякого самостоятельного стремления: в какую сторону махнет бичом пастырь, туда и бегут испуганные овцы, а не щелкни бич, они вечно будут топтаться на одном поле и щипать под собой травку, переходя то направо, то налево.

V

В Марфеньке мы еще видим кое-какие здоровые инстинкты. Она является чуть ли не самую положительной личностью во всем романе; по крайней мере, несмотря на крайнюю неразвитость, делающую из нее взрослого младенца, вы видите в ней много задатков весьма утешительных.

«Марфенька была свежая, белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка, живая и веселая. Она прилежна, любит шить, рисует. Если сядет за шитье, то углубится серьезно и молча, долго может просидеть; сядет за фортепиано, непременно проиграет все до конца, что предположит; книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за птичками, любит домашние заботы, охотница до лакомств и пр.»

«Еще в детстве, бывало, узнает она, что у мужика пала корова или лошадь, она влезет на колени к бабушке и вы-

просит лошадь и корову. Изба ветха или строение на дворе, она попросит леску. Умер у бабы сын, мать отстала от работы, сидела в углу, как убитая, Марфенька каждый день ходила к ней и сидела часа по два, глядя на нее, и приходила домой с распухшими от слез глазами. Коли мужик заболелвал трудно, она приласкается к Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочит к нему на дрожки и повезет в деревню. То и дело просит у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Девкам дает старые платья, велит держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или даст немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки и крестит почти всех новорожденных. Если случится свадьба, Марфенька не знает предела щедрости: с трудом ее ограничивает бабушка. Она дает белье, обувь, придумывает какой-нибудь затейливый сарафан, истратит все свои карманные деньги и долго потом после этого экономничает. Только пьяниц, как бабушка же, не любила и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он, пьяный, хотел ударить при ней жену. Когда идет по деревне, дети от нее без ума; они, завидя ее, бегут к ней толпой, она раздает им пряники, орехи, иногo приведет к себе, умоет, возится с ними. Все собаки в деревне знают и любят ее; у нее есть любимые коровы и овцы. Она никогда не задумывалась и смотрела на все бодро, зорко».

Но всем этим истинно человеческим проявлениям, ко-

которые одни только выделялись над омутом чисто животного прозябания бережковской среды, предопределено было оставаться на степени бессознательных инстинктов.

Они не могли в младенческом, неразвитом уме Марфеньки дорасти до степени сознательной системы, не могли сделаться руководящей целью и наполнить всю жизнь девушки, потому что все в бережковской среде не направляло к этому пути, а, напротив, отклоняло. Мы видим, что, во-первых, бабушка, на которую Марфенька смотрела чуть что не как на святую, более была склонна обуздывать хорошие порывы Марфеньки, чем поощрять их и развивать: бабушка, с точки зрения своего родового скопидомства, журила Марфеньку за расточительность и старалась всячески ограничивать ее щедрость. Викентьев, жених Марфеньки, более был склонен бегать со своей невестой взапуски и слушать соловьев, чем задаваться вопросами о целях жизни и обязанностях человека. А сама Марфенька была до такой степени лишена всякой умственной самостоятельности, малейшего проявления воли, что для нее не только немислимо было определить какую-либо самостоятельную, сознательную цель жизни без бабушкиного совета и воли, но даже там, где она хорошо знала, что действовала по бабушкиному благоусмотрению, она приходила в недоумение, робела и окончательно терялась, когда дело выходило из ряда обыкновенного, а бабушки не было под боком для того, чтобы скомандовать: шагни вот туда, повернись так. Сцена слушанья соловьев и объяс-

нения Викентьева представляется, правда, несколько утрированной. Младенческая наивность молодых людей, не знавших, что такое с ними происходит, выходит слишком уже аркадской, словно будто объясняются в любви в райских садах Адам и Ева, никогда еще ничего не слышавшие о любви, а между тем Гончаров заставляет Марфеньку и Викентьева читать современные романы и анализировать их в горячих спорах. Но при всем том, в сцене этой есть одна очень верная черта, совершенно в духе Марфеньки: когда Викентьев объяснился по-соловьиному Марфеньке в любви, она вдруг пришла в страшный испуг, начала плакать и обвинять своего милого в нечестности:

«— Вы нечестный, вы заставили бедную девушку высказать поневоле, чего она никому, даже богу, отцу Василию, не высказала бы... А теперь, боже мой, какой срам!»

И этот «божий младенец», по выражению Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаяния.

«— Нечестно, нечестно! — говорила она. — Я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что подумают обо мне? Я пропала».

И далее:

«— Соловей все объяснил нам, — сказал Викентьев, — мы оба выросли и созрели сию минуту, вон там, в роще... мы уже не дети.

— Оттого и нечестно было говорить мне, что вы сказали: вы поступили как ветреник — нечестно дразнить девушку, вырывать у нее секрет...

– Не век же ему оставаться секретом, когда-нибудь и кому-нибудь высказали бы его... Так ли?

Она подумала.

– Да, сказала бы: бабушке на ушко и потом спрятала бы голову под подушку на целый день. А здесь... одни, боже мой! – досказала она, кидая взгляд ужаса на него. – Я боюсь теперь показаться в комнату: какое у меня лицо – бабушка сейчас заметит...

– Ангел! прелесть! – говорил он, нагибаясь к ее руке. – Да будет благословенна темнота, роща и соловей!

– Прочь, прочь! – повторила она, убегая опять на крыльцо. – Вы опять за дерзости! А я думала, что честнее и скромнее вас нет на свете, и бабушка думала тоже. А вы...

– Как же было честно поступить мне? Кому же сказать свой секрет?

– На другое ушко бабушке, и у нее спросить, люблю ли я вас?

– Вы ей нынче все скажите.

– Это все не то будет: я уж виновата перед ней, что слушала вас, расплакалась. Она огорчится, не простит мне никогда, а все вы!...»

Вы, может быть, подумаете, что такая сцена обнаруживает младенческую наивность, эдемскую чистоту Марфеньки. – Ничуть не бывало. Девушка может быть крайне неразвита, невинна и чиста до полного неведения всех конечных проявлений любви, – и все-таки она вполне может быть свободным

человеком в высказывании своей страсти; мало того, на почве истинной безыскусственной невинности и чистоты девушка скорее может выслушать без смущения признание любимого человека и ответить ему таким же признанием, нимало даже не покраснев при этом; что тут худого и преступного, может думать она, что я люблю и меня любят. И напротив того, разные ужасы, ужимки и восклицания вроде того, что: ах, что вы сказали? ах, как это можно! ах, что вы это!.. Что подумает бабушка и пр. – все подобные наивничанья несколько не отрицают самого развращенного воображения и даже чаще всего бывают следствием его. Я вовсе не думаю предполагать, чтобы у Марфеньки было развращенное воображение. Я хочу только сказать, что весь этот ужас при объяснении Викентьева, все эти слезы и укоры были вовсе не безыскусственным проявлением ее наивности и чистоты, а, напротив того, все это было крайне искусственно и неестественно, все это было прямо навеяно на девушку бабушкиным воспитанием.

Вы подумайте только, сколько нравственного безобразия во всем этом: девушка любит человека, который сделался для нее дороже жизни, и когда этот человек говорит ей, что он ее любит, она вдруг приходит в ужас, начинает плакать, говорит, что он нечестный, что он сделал какую-то подлость!.. Не извращено ли здесь все, что только есть человеческого в человеке! Но что же делать, в бережковской сфере такие явления до того обыденны, что иной, воспитанный

на этой почве, может находить в них, пожалуй, особенную прелесть. Вы нередко можете здесь встретить девушек, которым заранее, в видах предусмотрительности, строго внушено, что каждый мужчина, будь он ангел во плоти, если только вздумает говорить о любви, непременно коварный оболститель и губитель, что малейший разговор о любви за глазами старших сам по себе есть уже преступление и наносит девушке бесчестие, а потому, едва коварный мужчина о любви заикнется, благодетельная девушка сейчас же должна убежать стремглав или же зажать руками уши и отослать коварного мужчину к папеньке и маменьке.

После этого, чего же можно было и ожидать от хороших инстинктов Марфеньки. Все они оставались на степени бессознательных порывов; отчего же между едою и едою не сделать было какого-нибудь добра, не оказать ласки? Но в основании жизнь Марфеньки оставалась жизнью пасущейся овцы, а в перспективе, с годами, молодым хорошим порывам предстояло угаснуть, как это всегда бывает в бережковской сфере, и из Марфеньки обещает выйти жирная супруга Викентьева, любящая посплетничать, покушать, поспать и расплодить детей, которых, по примеру бабушки, она способна будет только закармливать и запаивать.

VI

Райский отличается и от Беловодовой и от Марфеньки

тем, что в нем никто никогда не только не подавлял влечений, но не заботился хоть сколько-нибудь регулировать их. В то же время он получил высшее, университетское образование с разными возвышенными стремлениями и свободомыслием. Наконец у него была сознательная цель в жизни – стремление к художественной деятельности, я он мечтал посвятить ей всю свою жизнь.

Но такова была почва бережковской сферы, что даже такие, сами по себе хорошие вещи, как свобода воспитания, высшее образование, сознание цели жизни, были бессильны произвести что-нибудь на ней: высокие идеи оставались на этой почве красивыми словами, произносимыми за едою и после еды, а цель оставалась вечною целью без достижения, и в результате получалась та же животная жизнь быка, пасущегося в стаде бабушкиных коров и жаждущего вожделения. Когда Райский развил перед Беловодовой весьма картинно быт крестьян и привел ее в испуг, у Беловодовой возник после этого естественный вопрос.

«– А вы сами, cousin, что делаете с этими несчастными: ведь у вас тоже мужики и эти... бабы? – спросила она с любопытством».

И что же отвечал ей Райский?

«– Мало делаю, или почти ничего, к стыду моему или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет все тот же опекун – и я не знаю как. Есть у меня еще бабушка, в другом уголке – там какой-то клочок земли есть:

в их руках все же лучше, чем в моих. Но я по крайней мере не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни – знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю – и все же делаю. Но, кроме того, я выбрал себе дело: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... – досказал он тихо, глядя на кончик своего сапога».

Как вам нравится бесцеремонная наглость этого ответа: вы, мол, ничего не делаете по крайней мере от неведения, а я так знаю, и все-таки ничего не делаю, а так – немножко рисую, немножко бренчу, немножко пишу...

Да иначе не могло и быть с Райским на бережковской почве: самым положением своим в качестве пасущегося быка он был освобожден от всякой цели в жизни, от всяких обязанностей, и ему предоставлено было есть, есть и есть, а в промежутках между едою – вожделеть.

С самого детства своего он был воспитан так, что каждая прихоть его сейчас же исполнялась; он не привык себе отказывать ни в чем; и, когда вырос, положение его несколько не изменилось: он продолжал иметь полный досуг и возможность предаваться свободно минутным влечениям. Зачем стал бы он пригвождать себя к мольберту, слыша гром музыки и песни за окном, – все равно он мог заняться живописью и завтра, рассуждая, что дело от него не уйдет. Таким образом, вся жизнь Райского заключалась в вечной игривой смене впечатлений и свободной, безотчетной отдаче

себя сегодняшнему влечению. Этим строем жизни определяется бессодержательность Райского, вся его непоследовательность в убеждениях, стремлениях, чувствах и поступках. Про людей такого рода вы можете сказать, что они бесхарактерны, дрянны, но попадете в большой просак, если скажете, что они исключительно честны или столь же исключительно низки и злы. В жизни подобных людей все возможно, все зависит у них от того, какой найдет на них стих, под каким впечатлением они в данную минуту действуют; в продолжение одного дня они способны бывают наделать и отвратительных гадостей и удивить людей своим благородством и даже геройством. Таков перед вами Райский в продолжение всего романа, и Гончаров весьма тонко проследил этот тип во всех его превращениях, выдержав его до конца. Сначала Райский, под впечатлением апатии Беловодовой, проповедовал ей о свободе чувств, указывал на улицу, на толпу, порицал предков, светские приличия и родовые предрассудки, мешающие человеку наслаждаться жизнью; но потом, когда явился на сцену гр. Малари, Райский весь отдался новому впечатлению, ревности, и забывши все свои предыдущие проповеди, начал, напротив того, опираться на те же предрассудки родового быта, которые прежде порицал:

«— А! — вскричал Райский. — Вы защищаете его — поздравляю! Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа! Кузина! кузина! на ком вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради бога! Вам ли, с вашими понятиями, снизойти до како-

го-то безвестного выходца, может быть самозванца графа...

Она уж окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страх и осторожность.

– А Ельнин? – вдруг спросила она...

– Что Ельнин? – спросил и он, внезапно остановленный ею. – Ельнин, Ельнин... – засмеялся он. – Это детская игра, институтское обожание. А здесь страсть, горячая, опасная!

– Что же: вы бредили страстью для меня – ну вот, я страстно влюблена, – смеялась она. – Разве мне не все равно идти туда (она показала на улицу) что с Ельниным, что с графом? ведь там я должна «увидеть счастье, упиться им». – Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением».

Приехавши в поместье к бабушке, Райский тоже сначала начал проповедовать о свободе чувств, о необходимости в жизни страсти и грозы – проповедовал он это и Марфеньке, и Вере, и даже бабушке. Но когда то, что называл Райский поклонением красоте, осуществилось в виде омерзительной сцены с Марфенькой в саду – сцены, от которой Райскому сделалось тошно самому, он под впечатлением этой тошноты запел совершенно иную песню: «Люби, кто понравится, но прячь это глубоко в душе своей, не давай воли ни себе, ни ему, пока... позволит бабушка и отец Василий. Помни проповедь его...» После этого всего нет ничего мудреного, что Райский мог пойти к жене Козлова с целью воскресить в ней совесть и напомнить ей об обязанностях к мужу, а сам вме-

сто того увлекся сиреною и, позабывши все, тут же нарушил все обязанности и свои и ее; не нужно удивляться, что Райский с рыцарским чувством самоотвержения свел Веру с обрыва, а потом, увидя сцену в беседке, хотел было позвать бабушку с людьми и фонарями; бросил в окно Веры букет померанцевых цветов и, оскорбивши таким грубым поступком женщину, явился впоследствии нежным и гуманным утешителем ее. Все это совершенно в порядке вещей и вполне в духе Райского. Если только было что-нибудь постоянное в жизни Райского, так это та чувственность, которая обыкновенно развивается до громадных размеров у людей, обреченных исключительно растительной жизни; низшие животные страсти, преобладающие в жизни таких людей, естественно получают перевес над высшими и могут, наконец, всю жизнь человека обратить в какие-то сладострастные судороги. Вся жизнь Райского только в том и заключалась, что он созерцал разные роды и виды женской красоты, переходя от одной женщины к другой, – постоянно жаждал упиться страстью, испытать «бурю жизни, грозу», но, конечно, ни одна женщина хоть с малейшим чутьем не могла увлечься подобным ловеласом, страдающим крайним раздражением спинного мозга; а единственная женщина, полюбившая Райского, Наташа, была вознаграждена за свою любовь тем, что сошла в могилу, изнывши от грубой невнимательности любимого человека, предававшегося пьяным, развратным оргиям в то время, когда болезнь ее требовала особенно нежного и тщательно-

го ухода за нею: естественно, что люди вроде Райского, требуя от женщины упоения, не считают себя ничем обязанными за него: они способны бывают питать уважение к женщине, благоговение к ее красоте не в реальных отношениях к ней, а только в своих безумных грезах. Гончаров с особенной щедростью расточает в романе поэтические грезы своего героя, посвящая читателя во все их тонкости. Читая этот художественный бред, удивляешься всей бездне нравственного и умственного растления, до которого может дойти человек путем праздности и распущенности. Вот он, новейший сенсуализм – во всем своем ужасающем виде, ничем в сущности не отличающийся от сенсуализма какого-нибудь римского патриция времен Августа или французского маркиза XVIII века. Это тот самый сенсуализм, который так красиво драпирует свое безобразие и растление поклонением изящному, служением красоте, искусству ради искусства, обставляет себя женскими головками, купающимися вакханками, стоит за классицизм и сам, утопая в грязи самого возмутительного цинизма, готов своею собственной грязью метать во все молодое, живое, свежее. Типом Райского Гончаров подписал страшный приговор над всем поколением его времени, и вы видите изо всей этой характеристики, как богата объективная сторона его романа и как эта сторона предательски изменяет всем тенденциям автора, с которыми он выступает в последней части романа.

VII

Теперь мы обратимся к такой стороне родового быта, которая была всегда ахиллесовой пяткою этого порядка вещей, его больным местом, рогаткой, о которую не один род спотыкался и терял разом все, что накапливал иногда столетиями.

Мы уже сказали, что один из принципов родового быта заключается в стремлении рода подчинить своим общим интересам отдельную личность. Отсюда проистекает вечное стремление личности освободиться от такого гнета. С этим явлением мы теперь и будем иметь дело. Между тем как родовой быт стремится втиснуть все в свои узкие рамки и все человеческие стремления приурочить к тем или другим родовым интересам, из своих же собственных недр он постоянно выпускает силы, враждебные всякому регулированию, разрывающие все рамки и плотины и вырывающиеся широким, всеувлекающим потоком. Путем ли наследственного подбора, или других обстоятельств, но только весьма нередко в роде являются младшие члены с такими сильными страстями и деспотическими наклонностями, что никакой строгий, даже до зверства гнет не в силах подавить их. Люди с такими наклонностями с самого детства выбиваются из рук старших; насилие не покоряет их, а только ожесточает, и, когда они вырастают, вся жизнь их идет наперекор условиям, правилам и интересам родового быта.

Но не надо думать, чтобы такие явления были следствием непременно сознательного протеста, принадлежащего известному времени и возбужденного каким-нибудь исключительным учением. Напротив того, чаще всего они являются совершенно бессознательными, чисто стихийными взрывами сил, не вмещающихся в узкие рамки родовых условий. Нередко люди с такими наклонностями в душе своей вполне искренно исповедуют родовой кодекс, уважают все добродетели, предписываемые им, но в то же время не могут совладать сами с собой, уложить свою жизнь в рамки этих добродетелей и вечно мучаются внешним и внутренним разладом, пока не делаются жертвами этого разлада или молодая энергия не угаснет в них сама собою с годами. Явление таких типов мы можем проследить на почве родового быта через все века, начиная с самых отдаленных: Каин, убивший брата Авеля и бежавший из родительского дома; Алкивиад, не ужившийся с своими гражданами и изменивший отечеству; какой-нибудь герой тридцатых годов в байроновском духе; отчаянный донжуан, бреттер и игрок или купеческий сынок XVII и XVIII веков, промотавший отцовское добро и сделавшийся разбойником, — все это явления вполне аналогичные, хотя и принадлежат к совершенно различным эпохам и обществам.

В то же время было бы совершенно ошибочно полагать, чтобы эти взрывы сил сами по себе были способны поколебать родовой быт в его основаниях. Для этого необходима

еще одна сила, которой в подобных явлениях никогда не было. Дело в том, что родовой быт, как ни тесны его рамки, как ни искажает он существование людей, во всяком случае представляет в себе выработанную веками положительную систему жизни, глубоко укоренившуюся во всех отношениях людей. Уничтожить эту систему возможно только системой же более широкою, удобною для жизни – но в то же время настолько же положительною, как и прежняя. Сила новых идей, одерживающих с каждым десятилетием новые и новые победы над дряхлою и разлагающеюся сферою родового быта, в том именно заключается, что эти новые идеи во всей своей сложности представляются положительной системой, в которой укладываются все страсти и силы людей, как они укладывались в старой системе, только более естественно и свободно. В этом отношении различные обскуранты и охранители ветхой жизни глубоко и жалко ошибаются, видя в новых идеях только ряд отрицаний и антитез относительно старых учений. Они смешивают безразлично сознательный протест против родового быта со стороны новых идей с бессознательными взрывами сил, о которых мы говорим. Взрывы были действительно бессильны произвести какое-либо движение, потому что они были всегда явлениями чисто отрицательными: вырываясь из оков старого быта, сильные натуры не предлагали ничего нового, кроме жизни, полной беспорядочного разгула, без всякой системы, без всякой цели; но такая жизнь совершенно противна челове-

ческой природе, против нее вооружается в человеке все, начиная с чувства самоохранения; – вот почему сами протестующие кончали часто тем, что возвращались к тем же старым системам жизни, из которых сами вышли, с тою только разницей, что избирали себе роль не притесненных, что было не в их натуре, а притеснителей, к чему им весьма удобно бывало прилагать свои могучие силы.

В тридцатые, сороковые и пятидесятые годы в образованном меньшинстве нашего общества подобные явления совершались обыкновенно на почве романтизма, который служил отличным подспорьем для этого. Не давая ничего положительного, романтизм в то же время распоясывал человеческую природу от всяких систем, принципов и правил жизни. Единственный принцип его заключался в том, чтобы не иметь никаких принципов и повиноваться только свободно-му влечению собственных страстей. Идеалом его был человек с необузданными страстями, рушившими всякие преграды и пренебрегающими какими бы то ни было условиями жизни. Романтизм любил героизм, но героизм не усидчивого труда, не того неуклонного преследования своей цели, которое так высоко ставит английскую расу, а героизм самозабвения, которому непременно нужно или разом достигнуть всего, или погибнуть. Романтизм прославлял любовь, но признавал ее только как необузданную горячку страсти, снимая с человека всякие нравственные обязанности и нисколько не думая о каких-либо разумных отношениях между муж-

чиной и женщиной вне порывов страсти. Одним словом, если мы возьмем романтизм во всей его сложности, то мы увидим ту самую теорию, в виде которой люди сороковых годов представляют себе то, что они называют современным нигилизмом и разными новыми учениями. Это доказывает только, что люди эти до такой степени свыклись с романтизмом своего времени, что никак представить себе не могут какого-либо более разумного протеста против отживших форм и условий жизни, как в виде того же романтизма их времен с растрепанными волосами, разнузданными страстями и бесцельным отрицанием. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат, и, живя в 1869 году, живут все еще в каком-нибудь 39-м или 49-м.

В те годы действительно все, что было недовольно жизнью, искало спасения в романтизме. В то время не в редкость было встретить искателя приключений, с гордостью на челе и холодным разочарованием в сердце, отчаянного донжуана, бреттера, игрока, стремящегося по этому случаю на погибельный Кавказ и на пути туда не упускавшего случая пройтись насчет клубнички. В женщинах, по их положению, романтизм не мог доходить до таких крайностей; но и из них лучшие натуры по-своему страдали романтизмом: среди мертвого однообразного прозябания Райских, Марфенек и Беловодовых, под гнетом родовых предрассудков, такие женщины ударялись обыкновенно в сосредоточенную мечтательную жизнь, бежали общества людей и любили в уеди-

нении предаваться созерцанию красот природы. В то же время они постоянно мечтали о герое с титаническими силами, который извлек бы их из тины мелочей и дрязг и повлек бы куда-нибудь на край света, в волшебные сады Армиды. Такова была Вера в романе г. Гончарова.

Вера представляет радикальную противоположность с Марфенькой. В последней мы видим, при полном отсутствии всякой самостоятельности мысли, несколько положительных качеств вроде усидчивости в труде, жажды разливать вокруг себя добро – качеств, драгоценных с точки зрения какого хотите мировоззрения. В Вере ничего этого нет: она ведет в сущности такую же праздную, чисто растительную жизнь, как и Беловодова или Райский. Зато в ней преобладают свойства чисто отрицательные: отчуждение от окружающей жизни, стремление жить по-своему и бессознательная инстинктивная жажда чего-то нового.

Кому отдать пальму преимущества в этом случае, Марфеньке или Вере, – определить это трудно, так как мы имеем дело с бережковской почвой, на которой в конце концов все приводится к одному знаменателю. Мы заметили уже, что все положительные качества Марфеньки, как они ни хороши сами по себе, должны неминуемо заглохнуть на этой почве и не принести никакого плода. Сейчас мы увидим, что и отрицательные качества Веры приведутся к тому же результату.

Уже с самого детства в Вере начала проявляться натура, не укладывающаяся в тесные рамки бабушкиного миросо-

зерцания.

«– Скажите мне, бабушка, что такое Вера? – вдруг спросил Райский, подсевши к Татьяне Марковне.

– Ты сам видишь: что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть...

– Да я ничего не вижу.

– И никто не видит: свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего. И бабушка не смей спросить ни о чем: «нет да нет, ничего не знаю, да и не ведаю». На руках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у нее на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства ни спросит, а только пуще молчит. Не ленива, а ничего не делает: ни сшить, ни по канве, ни музыки не любит, ни в гости не ездит – так, уродилась такая! Я не видала, чтобы она от души засмеялась или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет, улыбку, точно грех какой. А чуть что не по ней, расстроена чем-нибудь, сейчас в свою башню спрячется и переживет там и горе и радость – одна. Вот что!»

Под башнею бабушка понимает старый запущенный дом, который Вера полюбила с детства, и когда выросла, то поселилась там в одиночестве, совершенно в романтическом духе.

В то же время было бы совершенно ошибочно думать, чтобы такое поведение было следствием какого-либо сознательного недовольства жизнью и окружающими людьми, чтобы она могла бы определенно сказать, чем она недоволь-

на и чего она хочет. Мирозозерцание Веры ничем в сущности не отличалось от мирозозерцания бабушки и Марфеньки; что бы там ни проповедовал ей отец Василий, сколько ни выстаивала Вера возле часовни, она не могла еще додуматься даже и до того, что вся жизнь и ее и окружающих людей представляет вопиющее противоречие хоть бы с теми идеалами, представителем которых служил образ, перед которым она молилась. Но в ней был такой избыток сил, который никак не вмещался в узкие рамки бережковской жизни; он требовал большего простора, чем представляла эта жизнь, и тем сильнее было брожение этих сил, чем пустее и бессодержательней была жизнь Веры, жизнь обедов и ужинов, ужинов и обедов да праздных скитаний по аллеям бережковского сада.

При всех этих обстоятельствах, очевидно, стоило подвернуться случаю, чтобы избыток сил вырвался наружу и томная жительница заброшенного дома совершила подвиг в романтическом духе, идущий вразрез со всеми понятиями окружавшей ее среды. Стоило явиться обольстительному герою вроде Печорина, дерзкому, отважному, с глубокой ночью на душе, гордым челом и лицом, омраченным скукой разочарования, – и вот вам на сцене борьба долга с увлекающей страстью, ходьба по краям пропасти, бесконечные споры о том, что такое страсть и следует или не следует отдаваться ей беззаветно, и в заключение беседка на дне обрыва, звездная ночь, луна и т. д.

Вот вам ключ от всего романа, как он, по всей вероятно-

сти, задуман был первоначально. Мы можем судить наверное по всему ходу романа и по духу времени, в котором он задуман, что перед нами непременно должен был предстать романтический герой вроде Печорина, с жадной приключений, опасностей и донжуанскими наклонностями. У нас есть и кое-какой фактический намек в самом романе на наше предположение. Гончаров так неискусно переделал свой тип на современный лад, что в новой костюмировке, в которую он одел своего героя, оставил небольшую прореху, и сквозь нее мы видим клочок шкуры совсем иного волка. Вспомним, что в заключение Гончаров посылает Марка Волохова в юнкера на Кавказ. – Как вам это нравится! В этом открываются перед вами два факта: во-первых, вы видите, как отлично понимает г. Гончаров дух нашего времени, заставляя своего юного героя искать забвения в гибельном Кавказе, а во-вторых, как преследует Гончарова седая старина, как тесно сжился он с нею и как ему трудно отделаться от тех представлений, которые он вынес из своей молодости.

Одного исхода на гибельный Кавказ совершенно достаточно, чтобы перед вами предстал во всей своей красоте тот тип, из которого Гончаров переделал своего Волохова, а вместе с ним и самый роман открылся бы перед нами в своей первобытной чистоте.

И вы видите, что роман задуман был не дурно. Он представлял бы одну из тех старых историй, которые зачастую совершались на бережковской почве, и в этой истории нена-

дежность и дрянность бережковской почвы представлялись бы перед вами во всей своей ужасающей ясности.

VIII

Гончаров задумал такой сюжет, который требует самой тщательной выдержки: малейшая фальшь, малейший неверный штрих, и вся трагедия превращается в смешную, глупую и пошлую комедию.

Для того чтобы трагическая иллюзия была соблюдена, героиня должна быть до конца выдержана в виде женщины с натурою сильною, глубокою, вполне неудовлетворенною окружающею ее средой и неуклонно стремящеюся вырваться из нее. В то же время герой должен быть представлен человеком с не менее сильным характером и недюжинным умом; возвышался бы над всем его окружавшим и действительно казался человеком, способным увлечь такую женщину. При этих условиях вы представьте себе только, сколько было бы поистине трагичного в судьбе женщины, которая все свои стремления, мечты, упования – всю свою жизнь положила в руки человека, в надежде, что он вырвет ее из среды сонного прозябания и что с ним рука в руку она пойдет по пути иной жизни, полной разумного счастья, – и вдруг что же; его герой оказывается пошлым ловеласом, а себя она видит жалкой игрушкой в его руках, которая годилась только до тех пор, пока ее не разбили, а потом взяли и выбросили. Во

всей этой истории трагичен, таким образом, не самый факт падения, потери невинности, а ужаснее всего то, что здесь рушатся все стремления, надежды, иллюзии, женщина становится лицом к лицу с пошлой, грязной и ужасной действительностью – женщина униженная, оскорбленная, обращенная в ничтожный предмет минутной прихоти.

Но мы не можем судить, сумел ли бы Гончаров изобразить перед нами такого героя, в которого могла бы влюбиться Вера? О сопоставлении Веры с Марком Волоховым мы еще поговорим в своем месте. Что же касается до того, в каком виде представил он Веру до и после ее падения, здесь мы видим полную неспособность Гончарова выдерживать характер и развивать перед нами драматические сюжеты.

Уже до падения Веры с обрыва вы видите перед собою в типе Веры удивительную амальгаму, составленную из двух совершенно разнородных личностей.

С одной стороны, Гончаров старается представить нам в лице Веры, как мы сказали уже, титаническую натуру, не укладывающуюся в рамки рядового быта и рвущуюся из них:

«Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не «барышня», – говорит он в одном месте своего романа. – Ей тесно и неловко в этой устаревшей, искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образование и все воспитание девушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее (?), добиваясь правды. В ней много именно того, что Райский напрасно

искал в Наташе, в Беловодовой: спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера – всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец, но с титанической силой: надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась».

Но в различных подробностях романа тот же Гончаров представил перед нами в лице Веры вовсе не какую-либо титаническую натуру, а именно «барышню», и самую дряненькую, которая, пользуясь своими обольстительными взорами, играла, как кошка с мышкой, с людьми, ухаживавшими за нею. Читая роман, вы не раз возмущаетесь до глубины души ее отношением к Райскому, которого она с тактом записной кокетки метала с небес в преисподнюю и обратно. Не лучше были и отношения ее к Тушину, которого она держала в почтительном отдалении, при всем том очень ловко пользовалась им, как послушным рабом, по мере надобности, и не скрывала расчетец очень невысокого полета – что Тушина не мешает приберечь на случай кораблекрушения, как человека, на которого можно будет тогда положиться. У шаловливых барышень, окруженных поклонниками, всегда бывает спрятан про запас солидный мужчина не без состояния, которого они обыкновенно держат позади всех и за которого впоследствии выходят замуж в случае крайности.

Такова же Вера и в минуту падения. Это вовсе не титаническая женщина, увлекшаяся всепоглощающей страстью, в которой сосредоточились все ее надежды, мечты, вся ее вера в будущее, а опять-таки нервная, чувственная, слабая барышня, которая вовсе не хотела падать, но колебалась-колебалась – да и не утерпела, чтоб ее кошка не съела. После же окончательной сцены в «Обрыве» Гончаров превращает Веру буквально в Марфеньку. Горе Веры сосредоточивается, главным образом, не на том, что разрушились все ее иллюзии, что все ее существование возвращено вспять и сама она оскорблена и унижена, как женщина, как человек. Вера обращает все внимание на то, что вот она совершила ужасный грех, потеряла невинность – и как теперь ей глядеть на всех, что скажет бабушка, что подумает Райский, Тушин, как будут глядеть на нее все люди, что заговорят в городе... А затем, стоило бабушке утешить Веру признанием вроде того: что ты, душенька, не плачь, я и сама когда-то сделала то же самое, и Вера развежилась, утерла глазки и утешилась.

Если хотите, то и с сильной натурой, как бы ни была она титанична, должна была после такой катастрофы произойти реакция. Но у сильных, страстных натур реакция выражается в таких же крайностях, как и увлечение. Вера, как сильная натура, должна была бы кончить непременно крайностью: скорее всего, согласно мирозерцанию ее, можно было ожидать, что она, подобно Лизе в «Дворянском гнезде» Тургенева, кинется в суровый, мрачный мистицизм, в кото-

ром будет стараться заглушить горе разрушенной надежды; или, подобно Татьяне Пушкина, могла впасть в мертвую апатию отчаяния, в которой ей решительно было бы все равно, что бы с ней ни делали. Наконец она могла бы впасть в необузданный чувственный разврат, как Ирина в «Дыме». Писатели, глубоко прочувствовавшие бережковскую сферу жизни, обыкновенно кончали одним из этих выходов: так и Пушкин кончил с Татьяной, разочаровавшеюся в Онегине; так и Тургенев покончил со многими героинями своих повестей. Но Гончаров изобрел для своей героини выход особенного сорта, крайне искусственный, фальшивый и совершенно немислимый на бережковской почве. Подобно тому, как в предыдущем романе, заставивши Ольгу разочароваться в Обломове, Гончаров утешил ее, пославши ей Штольца, которого сам создал искусственно силою своей досужей фантазии, так же он поступил и с Верой. Тушин является перед нами экстрактом всевозможных добродетелей, наподобие тех Правдиных и Стародумов, которых изобретал некогда Фонвизин, или еще лучше вроде гоголевского Костанжогло, вившего из песка веревки и наживавшего таким образом миллионы. В Тушине вы находите все, что вам только угодно: и мускульную силу, и железную волю, и змеиную мудрость, и голубиную кротость, и наивную простоту, и энергическую деятельность, и умение жить, поживать, да и добро наживать – да такое добро, что и сам он катался как сыр в масле и мужички его благоденствовали, избы у них были все новые,

крыши на избах деревянные, сами они были богатые, энергические, барину, господину своему, не только оброков не платили, но еще с него брали за труд свое жалованье – ну, и, конечно, благословляли свою участь и души в барине не чаяли; одним словом, в именье Тушина чуть ли не текли молочные реки в кисельных берегах.

Но как же это при всех условиях жизни бережковской сферы мог создаться такой алмаз? Как он сохранился, когда жизнь в самых основаниях своих вела к растлению? Гончарову самому приходил в голову этот вопрос при создании типа Тушина, но он отделался от него без затруднения:

«Стройно действующий механизм природных сил, – говорит он в одном месте, – мог бы расстроиться и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок и от дурной, избалованной воли. У него этого разлада не было. Внутренней силой он отражал внешние враждебные притоки, а свой огонь горел у него неугасимо, и он не уклоняется, не изменяет гармонии ума с сердцем и волей и совершает свой путь безупречно, все стоит на той же высоте умственного и нравственного развития, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, следовательно стоит почти бессознательно».

Вот что значит свобода творческой фантазии: чуть приходится нам объяснить какую-нибудь, нами же придуманную несообразность – мы сейчас можем сослаться на какой-нибудь внутренний огонь – и дело в шляпе. Нам с Гончаровым

ничего не стоит нарисовать человека, окруженного бурным пламенем, а внизу подписать: «Сей человек и в огне не горит, ибо из его могучей природы непрестанно выступает внутренняя влага, делающая его неуязвимым в печи огненной».

Но предположим, что Тушин возможен на бережковской почве: в семье ведь не без уroda и каких только чудес не бывает в природе. Как же это Вера, если она была чистая, глубокая, титаническая натура, раньше-то не открыла этого брильянта в куче навоза? Мы можем допустить, чтобы сильная натура увлеклась даже не титаническим донжуаном, а первым встречным гусаром и убежала с ним, если бы вокруг нее ничего не было. Но возле Веры был герой, который мог удовлетворить самым пылким мечтаниям девушки. Какого же еще рожна было нужно Вере, выражаясь бабушкиным языком? И здесь опять-таки мы видим все неумение Гончарова выдерживать характеры и иллюзию романа. Заставь Гончаров Веру встретиться с Тушиным после падения ее с обрыва, и все было бы в порядке: тема романа вполне соответствовала духу беллетристической школы сороковых годов, на почве которой было написано множество романов и повестей с подобной темой, что вот, мол, сильная женская натура, не находя вокруг себя никакого выхода, наткнулась на подводную скалу, впала в разочарование, отчаяние, но встреча с новым героем такого рода, о котором она и прежде всегда мечтала, утешила ее и возродила к новой разумной жизни, в которой она нашла, наконец, исход из своего прежнего бесцельного

прозябания. Правда, и в таком виде роман представлял бы в себе много ложного, потому что новый герой был бы все-таки герой, сочиненный автором, а не действительный, и новая жизнь, в которую Вера вступила бы, все-таки оставалась бы фиктивной жизнью, невозможной на той почве, на которой Гончаров ее представил; но была бы по крайней мере хоть какая-нибудь выдержка в романе.

Но Гончаров поступил иначе: взявши такой драматический сюжет, который требует непременно глубокого и свободного анализа, он посмотрел на этот сюжет с точки зрения узенькой морали; он не увидел в этом сюжете ничего, кроме греховного падения Веры, и из такого богатого сюжета, в котором могла бы развернуться старая жизнь перед нами во всей своей трагичности, он вздумал сделать нравоучительную повесть о том, как дурно поступают девушки, которые не слушаются старших и дают свободу своей воле и своим страстям. Сузивши, таким образом, богатый сюжет, Гончаров по необходимости должен был поставить Веру между двумя началами, злым и добрым, причем злое начало в виде обольстителя тянет Веру на дно обрыва, а доброе в виде Тушина – тянет вверх на путь спасения и благонравия. Мы знаем, что Гончаров не в первый раз поступает таким образом. Ведь и Ольга в «Обломове» точно так же рисуется перед нами между двумя противоположными началами: началом лени в виде Обломова и деятельности в виде Штольца. Гончаров до сих пор сохраняет архаическую манеру живопис-

цев дорафаэлевского периода – располагать фигуры в картине симметрически по прямым линиям. Но так как противоположные нравственные начала олицетворяются в романе в виде различных любовников, между которыми Вера колеблется, не зная, кому отдать предпочтение, то этим самым она обращается из титанической природы в слабую, нерешительную нервную барышню, которая, как мы выше заметили, кокетничает и с одним, и с другим, и с третьим, а Тушина оценивает только тогда, когда дело приходится плохо.

IX

Вообще нужно заметить, что во всех решительных драматических моментах романа вы не оберетесь нелепостей самого первого сорта. У Гончарова замечается какая-то фатальная способность изображать трагический пафос своих героев в таком комическом виде, что вместо трагического чувства в вас возбуждается истерический хохот. Посмотрите вы, например, на этого Райского, который в ревнивом бешенстве, как сумасшедший, мечется по саду во время сцены в беседке, вопит в ярости: мщениа, мщениа!.. натываясь на Полину Карповну, вертит ее, как куклу, произнося несвязные речи, и бросает потом в траву с криком: «Прочь, гадина!» Посмотрите вы на этого учителя Козлова, который, после того как жена ему изменила и уехала от него, все смотрит на дорогу, ожидая ее возвращения, и каждого мужика,

едущего в телеге, принимает за возвращающуюся супругу. А что сделал Гончаров с бабушкой Татьяной Марковной, уму непостижимо. Он заставил ее после падения Веры несколько дней пробродить по усадьбе в трагическом пафосе, напоминающем сцену лунатизма леди Макбет. К ужасу всех дворовых она ходила, ходила, ходила по саду, по полям, ломая руки и приговаривая: мой грех, мой грех!.. А за ней бегал Райский с кружкой молока, которую желал поднести ей, опасаясь, чтоб она не умерла с голоду.

Из-за чего же так распиналась бабушка, и в чем заключался ее грех? А в том, вот видите, что раз в жизни своей, когда она была еще молода, бабушка решила быть женщиной, а не куклой только в руках своих родных. Ее насильно выдавали за графа, а она любила соседнего помещика Тита Никоновича. Граф застал сцену свидания Татьяны Марковны с ее возлюбленным ночью в оранжерее – противники чуть не подрались, но Татьяна Марковна их развела, и они дали друг другу слово: граф, что он этой истории не огласит, а Тит Никонович – что он на Татьяне Марковне не женится. Так бабушка и осталась весь век свой девушкой. Мы не будем много распространяться о том, до какой степени лишена всякого человеческого смысла эта драма старого времени, в которой все счастье женщины было разбито из-за родовых предрассудков, из-за малодушной жалкой боязни огласки того, чем люди должны были гордиться, и из-за смешной рыцарской щепетильности, из-за которой два существа, любящие друг

друга, решились на весь век остаться чуждыми один другому, потому что в их отношения вмешался дрянной негодяй, взявший с них совершенно бесчеловечно, бесцельно слово, что они никогда не сойдутся!.. И на эту драму своей юности, в которой все, что было человеческого в Татьяне Марковне, ее любовь, самостоятельность в выборе предмета чувства, права на счастье, – все это было попрано самым возмутительным образом, – на подобную драму Татьяна Марковна смотрела, как на свой собственный грех, как на свое преступление, за которое, вот видите ли, провидение наказало ее падением Веры! Вы подумайте только, есть ли здесь хоть одна капля здравого человеческого смысла? Но курьезнее всего здесь не сама Татьяна Марковна, которой могло и в голову не прийти ломать страшные комедии и которая смело может заявить свой протест против разгулявшейся фантазии Гончарова в таком роде, что «батюшка, мол, Иван Александрович, что ты за чучело из меня сделал, за что ты меня срамишь: уж мне-то на старости лет отнюдь не пристало разыгрывать французские мелодрамы. Не ты ли сам расхваливал меня во всех пяти частях романа за то, что хоть я по французским книгам и не училась, а во мне много таится самородного здравого смысла, такта, сдержанности, проныцательности, знания человеческого сердца и умения верно оценивать людские отношения, – и вдруг ты заставил меня, как дуру шальную, шататься по полям, бог весть для чего, только людей тревожить, да Веру еще пуще расстраивать...

Ведь я еще из ума не выжила и хорошо понимаю, что этим беды не сбудешь, а пуще только раздуешь ее; только слабые и тщедушные люди мечутся и руки ломают при первом горе, а мне приходится сейчас же поспокойнее за дело приниматься, замазать, заклеить, что можно, Веру как-нибудь утешить да скрутить ее поскорее за Тушина, вот мое дело, а не по полям шляться без пути!»

Курьезнее всего здесь сам Гончаров, который, заставивши бабушку разыгрывать сцену лунатизма леди Макбет, сам умиляется перед своей фантазией и доходит до такого пафоса, что сравнивает Татьяну Марковну с разными историческими героинями древних и новых веков:

«Это не бабушка! – с замиранием сердца, глядя на нее, думал Райский. Она казалась ему одною из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души – нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать! У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушке: виделась ему в ней – древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени – с улыбкой горделивого презрения, услышавшая пронесшееся в народе глухое пророчество и угрозу: «Снимется венец с народа, не узнавшего посещения», «Придут римляне и возьмут!» Не поверила она, считая незыблемым венец, возложенный рукой Иеговы на

голову Израиля. Но когда настал час – «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняла свой венец и молча, без ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах пошла среди павшего царства, в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же – как эта бабушка теперь – несла святыню, страдания на лице, будто гордясь и силой удара, постигшего ее, и своей силой нести его... Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города».

Гончаров упустил из виду здесь то, что в судьбе женщин, которыми он любит, было трагично именно то, что он гонит, преследует и отрицает в женщинах и чего в Татьяне Марковне не было и тени: трагично в них было увлечение интересами общественного свойства, увлечение той или другой великой идеей своего века, для которой они жертвовали не только какими-нибудь узкими, эгоистическими страстишками – но жизнью. И такие великие святые личности, записанные историей, идут у Гончарова в сравнение с Татьяной Марковной Бережковой, весь трагический пафос кото-

рой основывался на чувственном задоре внучки и мелочных, пошлых расчетцах заплесневелого уголка!

Х

Из всего этого разбора, я полагаю, ясно можно видеть, что и без переделки на современный лад роман заключал бы в себе не малое количество невыдержанности, искусственности, ложного, надутого пафоса и нелепостей разного рода. Теперь мы посмотрим, что сделал Гончаров из своего романа, переделавши один из главных типов в духе современных нравов.

Вместо неизвестного нам героя в романтическом духе с донжуанскими наклонностями, перед нами парадировает в романе представитель молодого поколения, архинигилист Марк Волохов.

Создал Гончаров своего Волохова очень просто и незатейливо. Твердя в своем романе все о правде да о правде, то о новой, то о старой, – Гончаров упустил из виду в то же время одну правду, которая для него, как создателя романа, была всего нужнее: правду художественную. Ему и в голову не пришло, что для создания типа молодого поколения необходимо было ему хоть немного посвятить времени живому наблюдению этого поколения, хоть сколько-нибудь всмотреться в жизнь, нравы, стремления молодежи – всмотреться собственными своими глазами, не довольствуясь одними ходя-

чими слухами, готовыми стереотипными представлениями, которые сложились в пошлой, праздной и легкомысленной толпе. Гончарову показалось, что этих слухов и стереотипных представлений совершенно достаточно, чтобы создать представителя целого поколения и произнести суд над ним. Он так и сделал. Всем известно, какие готовые приговоры о молодежи ходят по разным гнилым трущобам нашего общества. Молодежь, говорят, впавши в материализм, отвергает духовную сторону человека, отрицает всякие нравственные принципы, смеется над браком и допускает только одни чувственные наслаждения. На основании этих ходячих слухов Гончаров изобразил в лице Волохова человека, твердящего, что жизнь людская больше ничего, как бесцельное кружение пылинок в воздухе, и склоняющего Веру на птичью любовь до завтрашнего утра, чтобы упиться взаимными наслаждениями и разойтись в разные стороны. Молодежь, говорят, отвергает все изящное, всякие удобства жизни – все созданное цивилизацией: и вот Гончаров заставил своего Волохова жить в телеге, ходить растрепанным и грязным, как, по мнению Гончарова, подобает архинигилисту. Молодежь, говорят, отвергает собственность – и Гончаров заставил Волохова лазить по заборам в чужие сады за яблоками, брать деньги без отдачи; надевши платье Райского, без церемонии объявить ему, что платье пришлось ему впору и он его не отдаст. Молодежь, говорят, отвергает всякий общественный порядок – и Гончаров заставил Волохова стрелять в людей,

травить собаками женщин, лазить в окна, брать приступом трактиры и проч.

Создавши таким образом тип не индуктивно и не из наблюдений над жизнью, а чисто дедуктивно из ряда ходячих пошлых сентенций, Гончаров представил перед нами не человека, а какое-то квазимодо, лишенное всякой реальности. Все прочие беллетристы одной школы с Гончаровым, и Тургенев, и Писемский, и Достоевский, и даже Ключников, в каком только ложном свете они ни пытались представить молодое поколение, во всяком случае имеют то преимущество перед Гончаровым, что они в молодом поколении видели хоть и заблуждающихся людей, но во всяком случае людей. Они не отвергали в них таких качеств, которые делают честь всякому человеку, каких бы он ни был убеждений: трудолюбия, честности, способности любить глубоко и прочно, наконец самопожертвования; они осмеивали и отрицали только принципы, убеждения и стремления молодого поколения, считая их с своей точки зрения ложными. Достоевский в лице Раскольникова изобразил злодея, совершившего убийство на основании ложного принципа, но и к этому злодею он отнесся не без гуманности: он не бросил в него камень желчного, злобного порицания; он не решился с тоном высокомерного бесчеловечия ткнуть пальцем убийцу и объявить, что мы не ждали в этом злодее и тени чего-либо человеческого: напротив того, и в убийце он сумел уловить биение человеческого сердца.

Гончаров же в своем изображении Марка Волохова уни-
зился до Стебницкого и Авенариуса. В лице Марка Воло-
хова он изобразил экстракт всевозможных гадостей: нагло-
сти, чувственности, распущенности, низости, злости и проч.,
отвергнувши в нем всякую возможность чего-либо челове-
ческого. «Волком, – говорит он о Марке Волохове, – звала
она тебя в глаза шутя, теперь не шутя, заочно к хищничеству
волка – в памяти у нее останется ловкость лисы, злость на
все лающей собаки, и не останется никакого следа – о чело-
веке!..»

Вы подумайте только, сколько нужно накопить желчного,
слепого озлобления, гордого самомнения и бесчеловечного
высокомерия, чтобы отвергнуть все человеческое в людях,
которые дерзнули не разделять наших убеждений! Неужели
Гончаров думает, что он раскрыл в истинном свете заблуж-
дения своих противников, представивши их в виде отвле-
ченного экстракта разных мерзостей неестественного, мело-
драматического злодея, исчадия ада, изрыгающего из себя
зло и зло... И это сделал Гончаров, художник реальной шко-
лы, завещанной Гоголем... Это называется стремиться к ху-
дожественной правде, брать образцы для своих произведе-
ний из жизни, глубоко изучая их в самой действительности!
Но курьезнее всего, что, изобразивши в лице Марка Воло-
хова безобразное чудовище, лишенное всяческого челове-
ческого смысла, Гончаров заставил в то же время в это чу-
довище влюбиться лучшую свою героиню, которую он на

каждой странице превозносит за глубину природы, пронизательность ума и тонкость женского инстинкта, умеющего многое верно угадывать прежде, чем что-либо дойдет до ясного сознания!

Как знатоку по части теории влюбчивости, чем так славятся все беллетристы сороковых годов, Гончарову, я полагаю, должно быть очень хорошо известно, что как бы ни была нелепа иногда влюбчивость, во всяком случае она должна иметь свою иллюзию, на которой она необходимо основывается. Женщина под влиянием страсти может до некоторого времени ошибаться в мужчине, объяснять в хорошую сторону все физические, нравственные и умственные недостатки своего возлюбленного; – но как бы ни была сильна такая иллюзия, она все-таки имеет границы, далее которых она невозможна. – Посмотрим же теперь, чем могла увлечься до самозабвения Вера в Волохове, если только она была женщина действительно с умом, пронизательностью и т. д. До своего знакомства с ним она могла заинтересоваться им, как человеком необыкновенным, выходящим совершенно из круга обыденной жизни. Слыша о разных его курьезах, могла думать, что они логически вытекали из какого-то нового учения, о котором она не имела никакого понятия; из неосновательности поступков Марка, она могла заключать о неосновательности учения, которым Марк увлекся, самая же личность Марка оставалась для нее еще неприкосновенною; она не могла еще ни увлекаться ею, ни питать к ней презрения

или отвращения. Ей во всяком случае любопытно было увидеть, что это за птица этот Волохов. Наконец она его увидела: он сидел на заборе и рвал яблоки из ее сада, немедленно же объяснил ей, что он делает это на основании принципов Прудона, провозгласившего, что собственность есть кража. — Затем он начал с ней видаться и давать ей те новые книги, из которых он извлекал свои принципы, в том числе и Прудона.

Мне кажется, что этого одного совершенно достаточно, чтобы в Вере не возникло никакой иллюзии относительно Марка. Если только Вера обладала хоть каплею ума, то, прочтя трактат Прудона о собственности, она с удивлением увидела бы, что между принципами Прудона и ворованьем яблоков из чужого сада нет ни малейшей логической нити, никакой точки соприкосновения; заблуждение Марка могло возбудить в Вере участие и желание воротить его на верную дорогу только в таком случае, если бы это было логическое заблуждение глубокого ума, который бы сказывался в самых крайностях заблуждения. Вот если бы на основании Прудона Марк Волохов объявил Вере, что он никогда в жизни не позволит себе съесть ни одного куска, который бы он не заработал честным, производительным трудом, а относительно яблоков заметил бы, что они должны принадлежать не Вере, не ему, Марку Волохову, а тому садовнику, который прилагал свой труд к произращению их, в таком случае Вера, прочитавшая Прудона, увидела бы, что слова Марка прямо истекают из прудоновских принципов, могла бы с своей

точки зрения видеть в словах Марка заблуждение, но видела бы заблуждение умного человека, способного понимать и усваивать что читает; такое логическое заблуждение могло возбудить в Вере участие, желание спорить с Марком и по возможности обратить его на свою сторону. – Но в применении принципов Прудона к ворованию яблоков из чужого сада Вера ничего не могла увидеть, кроме безумного и дикого скачка идиота. Ну, а где женщина видит идиота, там плохая надежда на какую-либо иллюзию и влюбчивость.

(Гончаров, заметим в скобках, или не читал Прудона и имеет о нем очень смутное понятие, или если прочел, то понял его принципы *a la* Волохов... Но последнее предположение мы отстраняем; оно было бы слишком уж оскорбительно для Гончарова).

Таким образом, пытаясь изобразить в лице Веры сильную, недюжинную личность и вдруг заставивши увлечься эту недюжинную личность какою-то смешной и жалкою пародией на человека, олицетворенною карикатурою, Гончаров окончательно разрушил всякую иллюзию романа. – Неужели Гончаров ослеп до такой степени, что не замечает, как этим самым глубоко унижает он свою героиню? Чтобы допустить возможность падения Веры с обрыва при таких условиях, нужно предположить что-нибудь из двух: или Вера сама была настолько слаба разумом, что очевидный, ничем не прикрытый идиотизм Марка Волохова остался ею не замеченным до конца романа; или же это была в такой степени

распущенная натура, что, замечая идиотизм Волохова с самого начала знакомства с ним, споря постоянно и ни в чем не сходясь, она все-таки решилась пасть в его объятия, – это уж черт знает что такое!

XI

Но этим всем еще не исчерпывается вся дикая несообразность романа. – До сих пор мы ограничивались только разбором произведения Гончарова с точки зрения чисто эстетической: мы старались показать, как слаб роман со стороны выдержанности сюжета, характеров, иллюзии. Если же мы теперь коснемся философии Гончарова, то забредем в такой девственно-непроходимый лес, из которого выбраться нет уже никакой человеческой возможности.

Вся философия, которую Гончаров рассыпает в разных местах своего романа, заключается в том, что он постоянно защищает старую правду перед новой. Что же понимает Гончаров под новой правдой и под старой?

Из типа Марка Волохова мы могли бы извлечь то заключение, что под новой правдой Гончаров понимает учение, отрицающее всякие нравственные принципы и проповедующее жизнь необузданного сенсуализма. – Такое понятие о новой правде Гончаров ясно формулирует перед нами в следующих словах:

«Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не со-

здала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни».

Но сейчас же вслед за этой фразой Гончаров говорит совершенно другое:

«Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, – не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой цивилизации, которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении».

Как же это так? Значит, новое учение проповедует не одну животную жизнь, а в нем есть доброе и верное, и Гончаров не только не имеет права пенять, что это доброе и верное не ново, а он должен радоваться этому, так как, по его мнению, это доброе и верное взято из того же старого учения, защитником которого он является перед нами. Но если только Гончаров признает, что в новом учении есть хоть одна черта добрая, верная, тогда что же значит вышеупомянутая фраза, будто новое учение, оставив себе одну животную жизнь, не создало вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни, что же такое значит тип Волохова, в котором Гончаров не представил перед нами ни одной из тех верных, добрых черт, которые он сам же находит в новом учении? – Где же тут справедливость? ведь это зна-

чит – беззастенчиво клеветать и самому тут же выставлять свою клевету на позорище?

Но, может быть, это происходит просто из неведения, из-за того, что Гончаров имеет самые смутные и неопределенные понятия о новой правде, понятия сталкивающиеся, противоречащие друг другу, составленные из пошлых ходячих мнений самого разнородного свойства. Но что касается старой правды, то тут, конечно, мы увидим в Гончарове знатока, человека, глубоко вникшего в «дух и глубину книги старого учения», а не обольстившегося одной буквой добродетелей этого учения, подобно молодежи и «не требующего исполнения этой буквы с такой злобой и нетерпимостью, против которой остерегалось старое учение».

Под старым учением Гончаров понимает учение христианское, а под книгою этого учения, конечно, евангелие. Посмотрим же, как глубоко проникнут Гончаров принципами этого учения.

Нам известно, что христианские принципы советуют с величайшей осторожностью произносить свой суд над чем-нибудь: не судите, да не судимы будете осужденными, говорят они, и они готовы простить разбойника, если видят в нем хоть одну черту добрую и верную. И неужели же Гончаров думает, что он поступает по христианским принципам, произнося самый строгий и бесчеловечный суд над людьми, о которых он не имеет никакого понятия? С желчью и негодованием древнего фарисея он отвергает все человеческое

в целом ряде людей, на основании одних уличных слухов, и этот же самый Гончаров сердобольно толкует о том, что старые принципы предостерегали против злобы и нетерпимости. Это ли называется проникать в дух и глубину старого учения? Но этого еще мало: нам известно, что христианские принципы восстали на тех иудеев, которые хотели забросать камнями заведомую блудницу. – Гончаров желчью и грязью бросает в женщин, о которых слышал, по всей вероятности, только грязные сплетни праздной толпы:

«Он (то есть Марк Волохов), – говорит Гончаров, – сравнивал ее (то есть Веру) с другими, особенно «новыми» женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям, – и более падшими созданиями, нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту и даже золоту, а те будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова, только лицемерно или глупо прикрыли это принципом».

Но знает ли Гончаров этих женщин, видел ли их? Что, если он клеймит публично названием жалких, пошлых, более падших созданий, чем все другие, – небольшую толпу бедных девушек, которым нечем жить, нечем питаться, которые в науке видят единственное средство существовать как-нибудь? Не поступает ли он во сто раз хуже тех иудеев, о кото-

рых мы выше упоминали? Во что обращает он принципы, которые берется защищать? Уж это одно заставляет нас думать, что под старую правдой Гончаров понимает такие принципы, которые не имеют в сущности ничего общего с книгою, на которую он лицемерно указывает, и напрасно он прикрывает свои истинные принципы – принципами евангельскими, – он этим только оскорбляет последние.

А что нужно понимать под старой правдой Гончарова и каковы истинные принципы его, это открывается нам само собой из всего содержания романа. По мнению Гончарова, старая жизнь тем и отличается, что она основана на старой правде, что в ней вместе со старым злом таится и старое добро и что из-за живого, прочного, верного, заключающегося в старой жизни, можно простить ей смешные, вредные уродливости, весь отживший сор.

Но мы видели из картины, представленной самим Гончаровым, какова эта старая жизнь. Мы видели, что перед нами были не одни только смешные уродливости: в самой сущности, в самых основаниях своих эта жизнь не имеет ничего общего ни с какими-либо новыми учениями, ни с теми христианскими принципами, за которые Гончаров ратует. Это жизнь, основанная на таких же принципах узкого эгоизма, уничтожения личности и порабощения, на каких была основана ветхая жизнь древнего мира. Христианство восстало против этих принципов с той же силой, с какой в настоящее время вооружается и цивилизация, и совершенно напрасно

Гончаров колет глаза современной цивилизацией за то, что в основу свою она положила многие истины, которые были открыты две тысячи лет тому назад; после этого Гончарову еще с большим презрением придется отнестись к математике, которая пользуется аксиомами, известными человечеству не две тысячи лет, а более. Стыдно в этом случае только тем людям, которые, живя в 1869 году, не доросли еще до истин не только современных, но и существовавших уже во времена Августа, и все еще исповедуют принципы, сгноившие древний мир. А мы имеем право думать, что Гончаров под видом старой правды защищает именно эти ветхие принципы. Иначе не мог же он так превозносить жизнь, которую он сам же изображает лишенною всякой прочности, иначе не стал бы Гончаров с желчной нетерпимостью и озлоблением, совершенно в духе древнего иудейства, отвергать все человеческое в людях, ратующих против всяких узких, эгоистических принципов. Откуда же, наконец, выходят все эти пресловутые ходячие мнения о молодом поколении, которые поддерживает и развивает Гончаров в своем романе, как не из той же почвы узких, эгоистических принципов? Вы подумайте только, какое бы мнение могли составить люди вроде Татьяны Марковны, Райского, Тычкова и пр. о действительно новом человеке, явившемся в их среду, новом в том смысле, что он всю свою жизнь осуществлял бы свои новые принципы. Это был бы, конечно, честный труженик, упорным, усидчивым трудом зарабатывающий себе пропитание,

человек, который жаждал бы распространять вокруг себя истину и посильное добро, жил бы просто, не любя излишней роскоши, его занимали бы исключительно общие интересы, касающиеся улучшения массы его соотечественников, и он был совершенно чужд узких, эгоистических принципов. Над таким человеком, конечно, смеялись бы в бережковской среде, как над мечтателем, не умеющим жить и устраивать свои делишки, но его терпели бы до поры до времени, может быть старались бы даже покровительствовать ему, как несчастненькому. Но стоило бы только оказать ему малейшее влияние на кого-либо из бережковской среды, – и будь он чище алмаза, нравственнее самой нравственности, – на него не замедлили бы посмотреть, как на исчадие ада, как на чудовище безнравственности. Вы подумайте только, что произошло бы в доме Бережковых, если бы только человеку этому удалось убедить Веру, что жизнь ее бесцельна, пошла, лишена всякой правды, что всякое нравственное учение, какое хотите, старое или новое, требует, чтобы человек в поте лица своего зарабатывал себе хлеб, чтобы он угождал не одному своему чреву, а жил на пользу ближних, и Вера пошла бы за этим человеком – на самую чистую, самую высокую жизнь честного труда... Разве родные Веры поняли бы всю высоту подвига ее и все благотворное влияние на нее нового человека? Для чего этот человек увлек за собой девушку? – подумали бы они. – О, конечно, для того, чтобы растлить ее и бросить в омут разврата... Эти люди, сами

растленные до мозга костей, никак не могли бы понять, чтобы у мужчины, если он не представляется им в виде выгодной партии, могут быть какие-нибудь иные, высшие принципы по отношению к женщине, кроме одних клубничных. Какую бы потом высокую, чистую жизнь ни вела Вера в новой сфере своего существования, во всяком случае, на нее смотрели бы эти люди, как на женщину погибшую, падшую, и в жизни ее грезился бы их развращенным воображением один голый разврат. Они оплакивали бы падение Веры уже потому, что она, вместо того, чтобы быть праздным украшением салона Тушина, идолом, поставленным на треножник и окруженным благоговением со стороны пламенного обожателя, – была бы принуждена своими трудами зарабатывать черствый кусок хлеба и божественная красота, сияющая статуя – учила бы ребятишек, шила бы манишки или, что еще хуже всего, бабничала бы. Вера Бережкова бабничала бы... Какой позор всему роду Бережковых!.. Сколько бы из-за этого одного тугов вокруг усадьбы могла сделать бабушка, ломая руки и видя во всем этом наказание за свой собственный грех!.. И всему виною был бы бесчеловечный, черствый злодей, развратитель. Да что, конечно, можно было бы ожидать от наглого циника, бездомного нищего... Разве такие люди могут ценить красоту, окружать ее поклонением, беречь и холить? Разве они понимают какие-нибудь высокие принципы, изящные чувства? Разве они имеют понятие о настоящей любви? Если бы человек этот действительно любил Ве-

ру, он не увлек бы ее в жизнь нищеты и низкого труда, не заставил бы ее чахнуть над работой, он позаботился бы составить поскорее карьеру, занять выгодное место – и тогда только явился бы и положил у ног ее прочное счастье. А он поступил совершенно как черствый эгоист, развратник, который смутил девушку, заботясь только о себе, о том, как бы удовлетворить поскорее своей низкой страсти, не налагая на себя высокой нравственной обязанности – даровать счастье любимой женщине. Впрочем, что ж, таковы и все они, новые люди, таково и учение их, – чистый материализм, отрицание всего высокого, изящного, всяких нравственных принципов. Поди-ка, у него двадцать таких Вер, совращенных с истинного пути, и может быть Верочка, увлеченная пагубным учением, бог весть как низко пала... и т. д.

Вот откуда и как слагаются всевозможные басни о материализме, цинизме, разврате и безнравственности новых учений и новых людей. А Гончаров подхватывает эти басни и выдает их нам за продукт своего творчества... Поборником каких же принципов является здесь перед нами Гончаров – неужели христианских?

Но этого мало, что роман Гончарова поддерживает старые, вымирающие принципы нашей жизни. Он заключает в себе иной вред, несравненно больший и которому не может быть оправдания с какой хотите точки зрения. Дело в том, что, искажая новые учения, представляя их в самом безнравственном виде, но все-таки в виде учений новых, Гончаров

этим самым с гораздо большей силой пропагандирует безнравственные идеи, которые старается опровергать, чем это делал бы какой-либо человек, выдумавший подобное учение и вздумавший его защищать.

Гончаров сам выражает в думах Райского, собиравшегося писать роман, опасения по этому поводу:

«Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение (думал он), а русские девы примут ошибку за образец, да как козы – одна за другой – пойдут скакать с обрывов!.. А обрывов много в русской земле! Что скажут папеньки и маменьки!»

Но Гончаров, по-видимому, слишком легкомысленно относится к этому факту. Пусть он не забудет, что в разных заплесневелых, отдаленных уголках нашего отечества немало есть отроков и дев с кипучими, свежими силами, жаждущими новой жизни, молодой, широкой; стороною долетала до них весть, что существуют где-то какие-то новые идеи, какие-то новые люди. Они любопытствуют, конечно, знать, что сей сон значит. Но когда, когда еще дойдет до них одна книжка, в которой новые, живые идеи представлялись бы в истинном, неискаженном свете, а роман Гончарова до них дойдет скорее, и они накинутся на него, потому что он новый роман известного русского писателя и в этом новом романе описываются новые люди с их новыми учениями.

Начнут отроки и девы читать новый роман и поучатся. Бабушкиными принципами их, конечно, не заманишь, не увле-

чешь, им и без того от них живетя солоно и тошно, но новые люди, с новыми учениями их займут. Уважая, по старым преданиям, художественный авторитет Гончарова, они, конечно, подумают, что новые люди и новые учения изображены в романе совершенно верно, как они существуют в действительности. И, может быть, не один юноша, не имеющий ни малейшего понятия о настоящих новых идеях, примет за них фразы Марка Волохова, которые найдет в романе, увлечется ими и захочет попробовать сделаться Волоховым в действительности. Оно во всех отношениях покажется ему занятным среди глухой скуки захолустья: все-таки произойдет маленький шум, он сделается героем околотка, начнет ходить растрепанный и грязный, красть яблоки, в кого-нибудь выстрелит в воздухе.

Но занятнее всего покажется юноше – беседка, луна и ночь, проведенная в объятиях Веры. А за Верою, конечно, дело не станет; найдутся и барышни, которым тоже покажется интереснее быть Верами, чем Марфеньками.

Вот таким-то путем распложаются по разным закоулкам нашего отечества безобразия всякого рода, настоящими пропагандистами которых являются обыкновенно то какой-нибудь обросший мохом романист, повсюду видящий одну клубничку, то какой-нибудь фельетонист либеральной или нелиберальной газеты, производится подобная пропаганда и нелитературным путем, в виде нелепых сплетен и басен, ходящих по всем перекресткам, западает она в уши нетрону-

тых птенцов иногда из самых грязных зловонных уст, а потом вся беда сваливается на растлевающее влияние новых учений. Может быть, в настоящую минуту где-нибудь и совершается драма в духе «Обрыва», навеянная чтением романа Гончарова, – и немало на подобную нелепую драму будет растрачено попусту молодых, свежих сил, немало поведет она за собой разрушенных иллюзий, горя и слез – мы можем вперед поздравить с этим Гончарова.

1869